

скивают спинами огромных ящериц. И даже окно, словно испугавшись всего этого, роняет горькие слёзы...

— Может ли человек жить в таком месте? Конечно же, нет! Но не спешите с таким утверждением. Вот в огонь подброшено несколько щепок, он ожил и разом отразился в огоньках испуганных глаз, нет, не человеческих — телячьих. Как их много тут — двадцать две мерцающих точки, — одиннадцать телят. Значит, мы в хотонке-коровнике и, может быть, зря ищем тут человека?..

Но кто же сидит рядом с камельком? Не домовая ли соседка? Одноглазый, с косматыми, как сорная трава, волосами, с сухим костлявым лицом, напоминающим деревянного идола, смахивающий и на мужика, и на бабу в дабовой рубашке, лоскутья которой болтаются ленточками, будто её драли собаки, босой, но в старых, вконец изношенных набедренниках из телячьих шкур. Кто это сидит с таким видом, будто очень доволен тем, что точно узнал о наступлении Рождества и даже когда-то родился на свет именно для того, чтобы узнать об этом? Кто так доволен тем, что, примостившись у чучала камелька, жрёт расколотой деревянной ложкой из старого горшка крупяную кашу? Именно не ест, а жрёт — жадно облизывая ложку, размазывая кашу по морде и собирая её пальцами в жадный рот. Увы, это человек. Тот самый двуногий, как говорили издревле, достойное украшение всего мира, лучший цветок природы, имеющий лицо спереди... Он и подбросил щепок в огонь.

Но, оказывается, одноглазый здесь не один. Разгоревшись чуть ярче, огонь осветил постель у левой стенки. На ней кто-то зашевелился. Оказалось, что это старик, накрытый рваным одеялом из шкуры жеребёнка-стригунка. Он страдальчески застонал и тихо спросил:

— Джаакып, ты здесь?

— Тут я, — ответил одноглазый и быстро утащил остатки своей каши в угол, к концу мостового настила телятника. Сунул горшок в потайную яму и надёрнул сверху плащину корья.

— Какое время дня сейчас? — спросил старик.

— Да не день сейчас, а ночь уже, — усмехнулся Джаакып.

Старик промолчал. Это был тот самый Уот-Уйбаан, знаменитый в своё время, прославившийся в пору расцвета хозяин аласа. Происходил он из крайних бедняков, занимавшихся кузнечным делом. Жил небогато, а потом уехал на несколько лет на прииски и вернулся при деньгах. Взял вторую жену, поправил хозяйство и пошёл в гору. Вскоре все увидели, что человек он ума острого, рассудительный и совсем не похож на тех, кто стал богатым на всём готовом, получив от отцов свои стада в наследство, и подчас только ждавших, когда достаток и прибыль сами вльются в их дома. В год засухи Уот-Уйбаан сделал машину, которая орошала его луга. Потом поставил мельницу и стал молотить муку для всего улуса. И предприимчивость его никогда не расходилась с честностью и правдивостью. Как-то раз, рассорившись, он врезал пощёчину самому заседателю Семёнову, но тот побоялся подавать в суд. За всю жизнь Уот-Уйбаан так и не научился грамоте, но не раз выступал ходатаем и адвокатом. Все окрестные богачи-тойоны с ним считались, а политссыльные водили дружбу и звали уважительно Симоновичем. Да что там ни говори — в тёмной массе улусного населения был он фигурой заметной, выдающейся...

И вот лежит он теперь тут, не зная даже: день или ночь на дворе. Не разрешают ему родные дети жить с ними в одной половине, держат в хлеву со скотом, под уходом одноглазого Джаакыпа. То ли скупы настолько, то ли не любили его с давних пор, то ли перед гостями зазорно за него, почти ослепшего и оглохшего, исхудалого умом?..

Старик Уот-Уйбаан приподнялся на локтях, тихо, бесшумно сполз со своего ложа. Джаакып подошёл к нему, взял под руку, подвёл к камельку и усадил на чурку, измазанную уже высохшим навозом. Спросил его:

— Старик, а ты знаешь, что завтра Рождество? Хозяйка олады уже печёт, знаешь?

— Э, нет, сынок, ничего я не знаю, — ответил тот и опустил на грудь седую, побелевшую, как колос перезревшего хлеба, голову. Опёрся на клюшку и застыл у чуть теплившегося огня.

Джаакып ещё немного посидел молча, а потом поднялся и неуверенно пошёл к двери в чистую половину дома. В коровнике опять стало сумеречно и тихо, только было слышно, как тяжело стонали сытые коровы, будто всех их разом поразила какая-то тяжёлая болезнь. В воздухе висели сырость, холод и тяжёлый смрад. И среди всего этого сидел один-одинёшенек тот самый старик, на которого в дни его молодости молились, как на бога, перед которым все кланялись и суеились, стараясь услужить, — сидел словно пенёк, одиноко торчащий под жертвенным деревом.

— И за какие грехи меня так содержат, — прошептал он еле слышно, не поднимая головы. — Как бы я ни состарился, как бы из ума ни выжил — нельзя же так. О, Господь Бог, если ты есть на свете, прими в свои руки грешную душу мою, плоть и кровь мою! Прими меня, отверженного родными и близкими, оставшегося одиноким и бесполезным. Прекрати все мои мучения. И для чего я породил детей своих?! Ради чего я столько лет старался и мучился, думая о них! Или все они посходили с ума от довольствия и собственного счастья? О, двуногие, как ужасны ваши помыслы и дела в этом Среднем мире! О, Господь Бог, прекрати мои мучения!..

Старик с трудом отвисел поклон почти до самого пола телятника и, продолжая ещё что-то бормотать и стонать, пополз к своему ложу.

Скрипнула дверь коровника. На хозяйской половине, сгибая ноги в коленях, появился Джаакып. Сделав пару шагов, застыл на месте и принялся осторожно всё разглядывать, сверкая своим единственным глазом. У себя в хотоне он как будто был больше и шире, отбрасывая заметную тень, а здесь, в этом светлом, блистающем доме стал каким-то маленьким косматеньким ребёнком, торчал, как веник, поставленный комлем вниз, всё уменьшаясь и растворяясь.

Люди чистой половины были веселы и беззаботны, улыбались и сияли. Они уже давным-давно сидели за столом, поедая праздничный ужин. Наконец, хозяйка глянула в сторону вошедшего и махнула рукой, подзывая.

— Иди, возьми. Это олады для старика, а это тебе самому, — протянула две тарелки: деревянную и железную с почти полностью отбитой эмалью и несколькими свинцовыми латками.

Джаакып, сжавшись ещё больше, подскокнул, принял тарелки и подобострастно заглянул хозяйке в глаза.

— Это для старика, да?

— Вот дурак-то! Разве ты не знаешь, что его всегда кормим с деревянной тарелки? Или, может, захотел, чтобы в честь Рождества ему на фаянсовой дали роскошествовать? Или тебе тоже?!

— Не, не, — торопливо заматала головой Джаакып и засеменил к своей двери.

— Погодите! — остановил его оклик хозяйки. — Посветите-ка ему, а то ещё в темноте шлёпнется и всё уронит.

— Давайте я, — предложила девочка, поднимаясь со своего места.

— Что тебе там делать! — остановил её отец. — Марать ноги в навозе да стариковских соплых?

— Да я бы не пошла далеко, я бы только от дверей ему посветила, — оправдалась дочка.

— Сиди себе, — отец повернулся к сыну и распорядился: — Давай-ка ты, парень.

Уйбаанчик только и ждал этого. Вскочив со стула, он быстро зажгёт лучину и распахнул дверь.

Они пробрались между плотно сгрудившихся у яслей коров, расталкивая их в стороны. Джаакып часто наступал на свежий навоз, но не обращал внимания на это, даже наоборот, ему нравилось, что навоз был тёплым и грел ноги.

Старик уже спал. Джаакып поставил тарелки на низкий трёхногий шаткий сто-

лик, раздул огонь в камельке, подкинул в него щепы и только тут начал рассматривать и считать олады. На долю старика их, слегка сдобренных маслом, пришлось три. А самому Джаакыпу хозяйка положила четыре, на одну больше. Увидев это, он скривил свою физиономию в довольной улыбке, единственный глаз довольно заблестал. Превосходство над стариком имело для него большое значение и вызвало, может быть, единственную и последнюю оставшуюся у него гордость. Окажись олады поровну или, не дай Бог, у старика больше, Джаакып сполна бы выместил завтра зло на хозяйских коровах, весь день бы незаметно раздавал им тычки и оплеухи. Но на этот раз он доволен.

Пока одноглазый занимался подсчётом олады, мальчик тормозил старика, приговаривая:

— Проснись, дедушка, проснись...

Наконец, старик с трудом приподнялся на кровати, начал вглядываться в лицо Уйбаанчика.

— Кто это меня зовёт? Неужто это ты, внучек? Да, конечно же, ты! Кто же ещё меня может дедушкой назвать. Единственный ты такой, — он тихо понюхал голову мальчишки и спросил: — А что ты пришёл?

— Помог Джаакыпу олады принести. Взрослые говорят, что завтра Рождество, поэтому мама и напекла олады. Тебе вот отправила, — он припал к уху старика и тихо зашептал: — Когда все уснут, я тебе всю свою долю принесу. У меня-то зубы хорошие, я могу и обычные лепешки есть, а тебе жевать нечем. Как все уснут...

— Птенчик ты мой! — старик прижал к груди внука. — Я знаю, за то, что ты у меня бываешь, родители тебя ругают. Слышал, что отец как-то грозился совсем тебя в хотоне запереть, работником сделать. Ослаб я сейчас, потерял силу и защитить тебя не смогу, так что придётся уж их слушаться. А олады, птенчик мой, сам съешь. Тебе расти надо, сил набираться, а мне уж всё равно скоро в могилу. Ешь сам и не надо мне приносить...

— Уйбаанчик, ну-ка иди к своим, — оборвал старика Джаакып, — а то родители ругать будут.

Мальчик на прощание погладил руку старика своей ладошкой и нехотя пошёл на чистую половину. Джаакып снял с огня старый, дырявый в носке чайник, налил из него едва подсвеченную спитой заваркой жидкость в две чашки. Себе пододвинул деревянную, потому что в ней чай не обжигает рук, Уот-Уйбаану поставил глиняную. И позвал:

— Ну, старик, иди. Будем рождественское угощение пробовать.

Ели они молча, словно в каком-то полусне, доставая олады на ощупь. Слышалось только чавканье Джаакыпа, которому вторили телята, пережевывавшие свою жвачку.

Закончив трапезу, Джаакып перекрестился и принял такой довольный вид, словно и не знал, не подозревал о том, что когда-то тоже ведь родился на этот свет драгоценным и чистеньким ребёнком с высоким предназначением быть лучшим из лучших — украшением сего мира. А вот сейчас он словно и не возражал, что впитан жизнью в такую мрачную яму, опущен ею на самое дно. Сидел, почёсывал сытый живот, и даже какое-то подобие улыбки растянуло его широкий рот.

Мысли старика бродили по своему кругу, догоняя досаду.

«И я считал себя человеком, и я считал себя отцом семейства, и я ел достойную пищу, и меня слушались люди, — раздумывал он, опираясь на клюшку и закинув голову кверху, будто желая взойти на высокий каменный утёс и обозреть с него когда-то великий, а теперь сжавшийся и неправедный мир. Счастливые дни молодости, собравшись воедино, пронзили его сердце, словно боевая стрела предков. Картины мелькали перед глазами одна за другой. Вот он весь светится от радости, встретившись впервые со своим счастьем — милой Ньюргуу. Вот он на раскорчёвке леса под пашню: бугряются мышцы, течёт пот, бронзовым загаром пылает лицо. Вот он на состязании по косье ловко орудует горбушей, наступаая на пятки

знаменитым мастерам. Вот горят радостью и благодарностью глаза просителей, получающих от него помощь. Вот...

А потом на видения этой счастливой поры налетела чёрная, обременённая дождём туча. Сбросила Уот-Уйбаана на холодный телячий пол, разразилась потоками горячих слёз, растеклась невидимыми ручьями...

Джаакып, убрав со стола нехитрую утварь, опять торопливо, лохматым чучелом засеменил на хозяйскую половину и привычно замер на своём месте.

— Ну, давайте Богу молиться да спать, — распорядился Мелекююрэп.

Неторопливо поднялся и специальной лучиной зажгёт «божьи свечи» под тремя иконами, стоявшими в одном киоте. Воскурил ладан, дым его поднялся облачком, устремился под потолок, заполнил запахом весь дом, услаждая сердца. Иконы из нечистопробного серебра заиграли, затрепетали отблесками, словно утренняя рябь на воде.

Мелекююрэп нарядился в новое пальто с медалью, подпоясался серебряным поясом и встал на зелёное сено в переднем углу. Хозяйка надела гарусный корсет со стеклярусом, повязалась шёлковым платком, вставила в уши золотые серёжки, повесила на шею крест и утвердилась за спиной мужа. Рядом с ней встала наряженная, а теперь уж совсем похожая на мотылька дочка. За ней послушно застыл Уйбаанчик. Свежее сено напоминало детям покос, лето и манило повалиться на нём, но они знали: нельзя!

На порядочном расстоянии от хозяев встали Макар, женщина-прислуга и Джаакып. Макар подул на руки и, как бы боясь замешкаться и желая показать, что для молитвы тоже нужны проворство и усердие, принялся быстро и беззастенчиво крестить грудь. Хотя на самом деле мысли его в этот миг были далеко от Бога и гораздо ближе к студию и оладьям.

Глядя на него, Джаакып тоже подул на ладони и даже облизал кончики трех пальцев, которые сложил в щепоть. Но, крестясь правой рукой, левой он при этом незаметно чесал верхнюю часть бедра.

Каждый просил у неведомого Бога своё. Хозяйка не забыла и об Уот-Уйбаане: «Господи Боже, дай поскорее отдых старика, успокой его душу...».

Джаакып только начал подходить к главным просьбам, как хозяйка, не поврачивая головы и не прерывая крестного знамения, прокричала: «Молоко сбежало!». Он вздрогнул — о, татат! — опередив служанку, подскокнул к котелку и сдвинул его на край чучала. Снова вернулся в угол и рухнул на колени, уткнул лицо в грязные ладони, затряс драными локтями, напоминавшими всклокоченный мех необлинялой собаки.

Молились долго. Наконец, хозяин подал знак: пора кончать. Стали целоваться меж собой. Серебряные иконы спокойно и безучастно смотрели поверх всего этого.

Джаакып зажгёт огонь и пошёл к себе. Подоидя к своей лежанке, воткнул лучину в трещину столба, сел под неё и почувствовал себя сытым, свободным и довольным. Снял рубаху, вывернул наизнанку и, тараща единственный глаз, принялся изучать швы.

Вскоре ему стало холодно, это и натолкнуло на мысль: «А почему не слышно старика, его сопения?». Повернулся в его сторону. Уот-Уйбаан лежал на спине, как-то неестественно откинув голову. Лицо его было бледным даже в неярком свете лучины. Джаакып подошёл поближе, потрогал — старик уже начал остывать.

Над землёй плыл звон дальнего колокола. Ночь была на редкость холодная и тёмная. И хотя, на первый взгляд, звёзд на небе было очень много и были они похожи на отблески костров, но были они очень далеко и никого не могли согреть. А вот искры огня, раздутого Джаакыпом, были ярки и горячи, и как будто хотели прожечь чёрное небо. Запоздалому спутнику даже могло показаться, что они зовут его зайти и отогреться...